



В. П. БУРЕНИН

**Критические очерки.
Литературное юродство и кликушество**

I

В нашей литературе замечается одно курьезное явление: высказывание время от времени юродивых и кликуш. Эти кликуши и юродивые высказывают во всевозможных видах: то в виде поэтов, сочиняющих нелепые вирши, то в виде критиков и публицистов, поучающих и проповедующих семинарским языком семинарские истины, пропитанные семинарской тупостью и еще чаще семинарским лицемерием. Юродство и кликушество, кажется, вообще составляют одну из характерных черт русской жизни. Юродство и кликушество проявлялись у нас и в древние времена, и в самые новейшие, проявлялись в разных сферах. Почему же не проявляться юродству и кликушеству в литературе? И вот они проявляются, иногда в слабой и сдержанной, если можно так выразиться, замаскированной форме, а иногда в очень резкой и откровенной, почти до цинизма.

Как на самый свежий и выразительный пример подобного литературного юродства и кликушества, можно указать на статью г. Розанова в августовской книге «Русского вестника»¹. Статья называется: «По поводу одной тревоги гр. Л. Толстого». Давно не появлялось ничего подобного в наших литературных изданиях; очень давно. Я думаю, с тех пор, как исчезла пресловутая «Домашняя беседа» пресловутого Аскоченского², считавшаяся позором и посмешищем русской журналистики в шестидесятых годах. Правда, такие статьи в органе Аскоченского печатались очень часто. Тем не менее, даже сам Аскоченский считал их в душе неприличною чепухой; он ведь был цинический лицемер и *дома* издевался над теми глупостями, которые выпускал пуб-

лично в своей «Беседе». Что касается до других тогдашних журналов, то ни один из них не решился бы угостить своих читателей лицемерным юродством и кликушеством во вкусе Аскачченского. А вот теперь, с Божьей помощью, мы дожили до такого времени, когда читателей этим блюдом угощают с самой очаровательной развязностью гг. Розановы, Тихомировы, Говорухи-Отроки, Болтуны-Младенцы и тому подобные патентованные книжники, твердые в доктринах новейшего фарисейства. Мало этого: развязность упомянутых господ доходит до того, что они начинают в своих писаниях, говоря на их манер, кощунственно пародировать тон проповедников и пророков.

Вот, не угодно ли почитать выдержки из статьи г. Розанова и полюбоваться, каким тоном пишет и разговаривает этот господин, разговаривая не с одним из равных и подобных ему Болтух-Младенцев, а ни больше ни меньше, как с автором «Войны и мира». Нисколько не чинясь, г. Розанов обращается к Л. Толстому прямо на «ты» и начинает его увещевать, точно он, Розанов, пророк Нафан, а Толстой — царь Давид, совершивший разные неправедные поступки. Г. Розанову очень не нравится, что великий писатель в своих произведениях не обнаруживает идотского фарисейства нынешних Болтух-Младенцев, и, взамен этого успокоительного фарисейства, высказывает тревожащую душу правду в ярких, живых образах, а не в семинарски-комических благоувещаниях. Г. Розанов никак не может понять таких «тревог» Л. Толстого и полагает, что все это у автора «Войны и мира» происходит от того, что он боится смерти, а смерти он боится потому, что на его душе есть «тайный грех и, быть может, преступление». Вы не верите, читатель? Но, уверяю вас, это напечатано всеми буквами. Убедившись, что гр. Л. Толстой — великий грешник и даже преступник и чувствуя, конечно, свою фарисейскую праведность, г. Розанов обращается к гр. Толстому с поучением. «Отчего же *ты*, — говорит кроткий проповедник буйному грешнику и преступнику, — не попытаешься покориться Богу? Ты не хочешь “сопротивляться злу” и — сопротивляешься даже Богу? Ты все умничаешь, выдумываешь, лепишь снова человека из глины, когда его уже слепил Бог. Не вспомнишь ли, как, “лепя” Платона Каратаева и в нем (впервые) — “непротивление злу”, ты в конце концов заставляешь людей, к нему привязавшихся, бросить его на дороге, так как он, больной, не может за ними следовать. Я помню, как прочел это много лет назад, еще будучи мальчиком, и тогда же мне показалось это болезненным и уродливым вывертом. Тут еще замешалась собачка, которая ужасно тебя обличает (?), лает на тебя из всех сил: она оста-

ется с умирающим Платоном Каратаевым, а люди — *уходят*. Как ненатурально, как гадко! Как гадок человек, тобою созданный, сравнительно с тем, каков он есть!»

Позвольте остановиться на этой выдержке из «критики» г. Розанова. В сущности, приводимая выдержка относится к тому роду рассуждений, которые покойный Салтыков назвал «бредом куриной души». Однако же это бред куриной души не простой, а, если так можно выразиться, фарисейско-инквизиционный. Понимаете ли, читатель, что хочет сказать г. Розанов? Вот что он хочет сказать: Толстой до того преисполнен греховным дерзновением, что вздумал «лепить» людей по своему образцу. Слепленные Толстым люди гадки и ненатуральны. В пример гадости и ненатуральности критик (или, точнее, увещатель) приводит поступки этих людей с Каратаевым: эти толстовские люди покинули Каратаева, тогда как собака даже лучше их оказалась, осталась около больного. Если бы Толстой не умничал и не выдумывал гадких людей по своему образцу, а брал бы тех, что уже до него вылеплены, то он должен был бы заставить их остаться с больным Каратаевым для помощи ему, а злокозненную «обличительную» собачку ему следовало бы совсем удалить, дабы она не лезла со своим жалобным воем в пику бессердечным людям. Такой смысл рассуждений г. Розанова, пришедших ему в голову, когда он был еще мальчиком. Рассуждения эти, однако, даже и для мальчика были неосновательны, а для взрослого, может быть, уже почтенного критика-философа совсем непростительны, потому что они происходят от невнимания к тому, что написано автором «Войны и мира». Дело в том, что люди, слепленные даже по самым совершенным образцам, не могли бы остаться с больным пленником Каратаевым, не могли бы оказать ему помощи просто потому, что если бы они сделали попытку остаться, их бы сейчас же пристрелили французы, как пристрелили они Каратаева. Собачка же осталась не потому, что Толстой слепил ее лучше и добрее людей, а потому, что она не считалась пленницей, ее не конвоировали французские солдаты, она была свободна вполне и могла поступать как ей угодно. Таким образом, выходит, что Толстой, как художник, слепил и Каратаева, и его сотоварищей по плену, двуногих и четвероногих, не умничая, а такими, какими они были и быть должны. И если в его людях, поневоле оставивших больного Каратаева, и в его собачке, воющей над трупом пристреленного солдатика, критики, еще будучи глупыми мальчиками и не поумневшие с тех пор, видят первые признаки «сопротивления благу» и желания переумничать Бога, то это уже не вина правдивого художника, а вина этих господ критиков.

II

Да, это совершенно особого рода критики, руководящиеся в своих произведениях не логикой, не разумом, а юродством, за которым скрывается прирожденное или притворное фарисейство, не разберешь хорошенько. На них «накатывает», как на известных сектантов, какой-то «дух», они впадают в «транс» и не разбирают писателя, не исследуют его, а прорицают и увещевают, обращаясь к нему, как к погибающему грешнику, нимало не сомневаясь, что он идет по прямому пути в ад, простирают к нему руки для его спасения и т. д. Словом, тут не критика, а истерическая чепуха, если только не истерически-лицемерная комедия с какими-либо практическими, а не литературными целями, например, с целью гласного заявления о своем благочестии, смиренномудрии, праведности, почитании установленных начал и т. п. Чем же, в самом деле, как не этого рода «особым трансом» или замаскированным в транс фарисейством можно объяснить, что г. Розанов обращается к гр. Толстому с такими речами:

«Все, что говоришь и делаешь, не есть ли “сопротивление” не только злу, но, кажется, целому мирозданию (?), которое вышло бы, тебе думается, лучше, будь *ты* призван построить для него план и дать законы? Разве не часть этого мироздания, не его продолжающееся творение — чудесная история человека на земле, и вот, ты находишь ее ненужным и глупым маскарадом, который давно пора бы прервать. “Зачем люди росли”, “жизнь усложнялась”, “ум выдумывал новое, то и это”, от Авраама и до тебя?.. Значит, были *залог* (курсивы г. Розанова) для этого, хотя бы и во грехе лежащие (?) и, во всяком случае, для человека непостижимые; были, значит, *семена* в матери земле, кем-то для чего-то положенные, и что же, “не сопротивляясь злу”, — ты хотел бы разом ампутировать этот семенник (?). Покорись... Но был ли человек менее покорный, чем ты? Так мелочно предприимчивый? Так все высслеживающий, так все ненавидящий — при устах, полных всегда любви!» (с. 176).

Это начало «транса». Чем далее, тем более «накатывает» на г. Розанова, или чем больше он притворно кривляется, разыгрывая праведного увещателя и выкликая все бессмысленнее и бессмысленнее. «Вспомни “длинные и тонкие пальцы” матери своей, — вопиет он к графу Толстому, — которыми, бывало, щекотала она тебя еще ребенком за рубашкою!» Вспомнить об этом Толстому надобно для того, чтобы он выкинул из рассказа «Хозяин и работник» несколько строк, которые не нравятся г. Розанову, хотя заключают в себе простую и несомненную правду, возмущающую только завзятых фарисеев, так как они вообще

не терпят правды. «Выпусти их, *воздержись, ограничь* (курсив г. Розанова) себя, — не в вегетарианстве желудка (?), но в этом более благородном вегетарианстве сердца (?), в образах, тебя смущающих, в сладостно дразнящих мыслях, в теле разжигающем. И та радость, которой столько лет не знаешь ты, сладко защемит у тебя под сердцем». Это все случится от того, видите, что Толстой выкинет четыре правдивые строки из «Хозяина и работника». «Ты ищешь веревки, — продолжает г. Розанов с блаженной улыбкой, — на которой бы удавиться... Прими в самой малой части советы мои *, и тот бес, который мучит тебя и заставляет “метать копьё” в невинного, перед тобой играющего Давида, “чтоб пригвоздить его к стене”, я хочу сказать — в эту играющую перед тобой жизнь, говорю: этот дух тебя оставит, этот бес не смеет коснуться тебя, и ты узнаешь радость».

Для того, чтобы Толстой ощутил, узнал «радость», рекомендуемую г. Розановым, он должен совершить «великое отречение», он должен отречься «от духа осуждения; духа волнующей его злобы и презрения к миру». Кроме того, он должен «подумать о неизмеримом и рассмеяться малому». Затем он должен перестать рубить «сарафаны истории». Право, все это так и напечатано, читатель. «Подумай о неизмеримом и рассмейся малому, чем ты занят; вот в климактерическом периоде, так склонном к заболеванию, едва не заболела жена твоя — и, однако, не заболела же, осталась жива, служит тебе помощницей...» (с. 179). «Но послушай, оставь сарафаны истории, которые ты рубишь, как твой Никита рубит сарафаны жены своей непутящей» (с. 179). Затем г. Розанов приглашает гр. Толстого «вообразить» нечто, что воображал г. Розанов. «Вообрази себе, — говорит он, — как часто воображал я, что в эмбриональном периоде развития человека совершился бы какой-нибудь изъян, например, не выработалась бы какая-нибудь извилина в мозгу (например, что заведует счетом) — как малы все бедствия, Тамерланом человечеству нанесенные, все бедствия от глупости и эгоизма Наполеона, все беды от наших ненужных учреждений, повторяю: как мало все это сказалось бы перед великим бедствием, какое имел бы человек с этою недостающей ему извилиной мозга или пустотой в его ухе». Но, по счастью, того, что часто воображал себе г. Розанов, в действительности нет: ошибки никакой не вышло, когда «начертывали в утробе» и гр. Толстого, и г. Розанова. «И ты мудрый, и я глупый, — утверждает г. Розанов, — мы оба родились как сле-

* напечатано: *свои*. Это, очевидно, опечатка.

дует». Чрезвычайно довольный тем, что он, г. Розанов, был как следует начертан в утробе и родился глупым, он приглашает по поводу этого события воспеть всеми «костями, нервами и жилами благодарственный гимн». Зато он страшно недоволен тем, что гр. Толстой увлекается будто бы своей писательской славой, «распространившейся на два полушария». Он казнит автора «Войны и мира» за то, что тот «уже в седилах, уже перед *недальним гробом, как бы обезумев*, потянулся за этой мишурой». Он находит, что даже кулак Василий Брехунов «добрее и великодушнее» знаменитого писателя; кулак «в себе живет», восклицает г. Розанов, когда ты, *паразит*, ползешь по чужому телу «и *выискиваешь, где бы вкуснее укусить*». У кулака нет «духа осуждения», в его духе г. Розанову «отрадно», а в духе Толстого ему «тягостно и душно». Особенно ему тягостно сознавать, что благодаря гению гр. Толстого русская литература «переступила тесные границы родной земли и потащилась на всемирный рынок, потащилась за всемирной славой, *какими это бедами для нас грозит!*» Ужасно сокрушается и ужасно злится в то же самое время на все это г. Розанов, злится до того, что даже начинает «топать ножкой» на гр. Толстого. «Не смей, — раздраженно кричит он, — осуждать, не замечай, не высматривай, и *даже видя грех, свои глаза закрой* на него, если не хочешь погибнуть ужасно и жалко». Запретив гр. Толстому осуждение, г. Розанов тут же разрешает, однако же, самому себе осуждение: «Я, — говорит он гр. Толстому, — осудил тебя последним (?), после стольких лет греха твоего, *когда уже гроб не далек*, чтобы ты сознал себя и радостно, и не уныло, сошел в него».

Ну, кажется, довольно, читатель, выдержек из «критики», то бишь — «транса» г. Розанова: этим «последним» традиционно-семинарским стращением близостью гроба можно заключить. Юродствующие лицемеры и фарисеи всегда утешают себя тем, что люди, избличающие лицемерие и фарисейство, умрут и попадут в ад, а лицемерие и фарисейство всегда останутся в самом лучшем из миров. Чудное утешение, достойное этих господ и чрезвычайно «радостное» при этом для них, так как они всегда радуются всему скверному. Ну, пускай! Дело не в их радости, а вот в чем: близок ли к гробу гр. Толстой, или еще далек от него, это, я полагаю, вне нашего с г. Розановым ведения. Быть может, гениальный писатель проживет до ста лет, пошли ему Господь Бог доброго здоровья. Точно так же мы не можем знать, близок ли к гробу г. Розанов. Но вот что можно сказать с некоторою достоверностью: кажется, г. Розанов если не близок, то, во вся-

ком случае, не очень далек от того состояния, которое Пушкин считал ужаснее самой смерти (см. стихотворение «Не дай мне Бог»).

Еще одна-две статейки в таком роде, и почтенный критик-философ будет совсем готов... Ведь нельзя, в самом деле, безнаказанно, добровольно или притворно говорить тоном пророка и учителя глупости, обращенным в качестве увещания к гениальному художнику. Разумеется, при известном кликушеском настроении или при известной привычке к фарисейству очень не трудно разыгрывать вариации на избитые мотивы и вопиять: опомнись, покайся, покорись, смирись, ограничь себя и т. д. Может быть, эти мотивы, говоря словами гр. Толстого, «очень важны и нужны» для юродствующих и фарисействующих самозванных учителей; но «нет и не может быть никакой связи» между этими мотивами и свободным творчеством, пытливостью ума и литературной критикой. Зачем же юродствующие или фарисействующие господа Розановы, Говорухи-Отроки и Болтухи-Младенцы вторгаются с этими мотивами в область литературной критики? Зачем они назойливо лезут на страницы литературных журналов со своими семинарскими упражнениями? Зачем, наконец, литературные журналы печатают подобные упражнения? Ах, читатель, на все эти *зачем* можно ответить только одно: мы живем в такое время, когда юродство и кликушество в большом ходу, когда они выгодны, когда они в моде...

III

Да, юродство и кликушество до такой степени теперь в моде, что они проявляются даже уже в форме настоящего, чистейшего литературного сумасшествия. Мы дожили до того, читатель, что новейшие Аксентии Ивановичи Поприцины³ прямо угощают публику сборниками «своих произведений», в стихах и прозе, и не только не смущаются писанием и печатанием сумасшедшей чепухи, но даже явно величаются своим сумасшествием. Вот, например, мне на днях прислали два тощих сборника юродивых произведений: один московского изготовления⁴, другой — петербургского⁵. Московский сборник снабжен кратким предисловием, по тону чрезвычайно напоминающим записки кандидата на испанский престол: совершенно та же твердая убежденность в своем высоком предназначении, какую проникся Аксентий Иванович «апреля 43-го числа», в день «величайшего торжества», в день открытия, что в Ис-

пани «есть король», «он отыскался, король этот — я!» Автор сборника — стыжусь назвать его, хотя он сам обозначил всеми буквами свою фамилию и даже имя — говорит, что это «последняя книга его юности, что ее название имеет свою историю», издатель гордо прибавляет: «В будущем я напишу гораздо более значительные вещи (в 21 год позволительно давать обещания!). Печатаю свою книгу в наши дни, я не жду ей правильной оценки ни от критики, ни от публики. Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству». Как вы это находите, читатель? Очевидно, эти строки представляют то же самое, что представляла знаменитая подпись «Фердинанд VIII», сделанная «на самом главном месте, где подписывается директор департамента», вместо подписи «столоначальник такой-то». Очевидно, автор сборника рассчитывал на то же впечатление, как и Аксентий Иванович: среди читателей после прочтения о завещании книги «вечности и искусству» должно водвориться «благоговейное молчание», а автору остается «кивнуть только рукою», сказать: «не нужно никаких знаков подданчества», затем удалиться для ожидания депутатов от Испании, которые отвезут его... на девятую версту. Там, воссев на трон, освобожденный для него Аксентием Ивановичем Поприциным, он начнет услаждать «вечность» своими вдохновениями в таком роде:

ПРОКАЖЕННЫЙ

(Рисунок тучью)

Прокаженный молился. Дорога
Извивалась по сдвинутому скалам;
Недалеко чернела берлога;
Надвигались тучи, и строго
Ветер выл по кустам одичалым.

Диссонансом угрюмых мелодий
Дальний топот вплетался неожиданно.
Конь спешил, конь летел на свободе,
Был ездок неподвижен и странно
Улыбался земной непогоде.

Вылетая к угрюмой берлоге,
Шевельнулся он будто в тревоге.
Конь всхрапел, на дыбы приподнялся:
В двух шагах перед ним на дороге
Прокаженного труп улыбался.

А если «вечности» понравится эта белиберда, то автор предложит ей белиберду еще пущую, хотя бы этакую, например:

PRO DOMO SUO *

(К *Méditationes* **)

О нет, дорогая, печали мои
 Не сложат, как прежде, стихов о любви;
 Из девственной радуги сотканный сон
 Давно отдаленным напевом смущен.

Спускаются с гор и трубят трубачи,
 Бесстыдно по воздуху свищут бичи,
 С мычаньем коров и со ржаньем коней
 Смешались веселые крики детей.

Я вижу дорогу: по ней без числа
 Невинных блудниц распростерты тела
 В блестящих браслетах, в гирляндах из роз...
 И вот подъезжает нестройный обоз.

На этом «нестройном обозе» можно и покончить. Других примеров, полагаю, не требуется: достаточно выразительны и эти два.

Что касается до петербургского сборника, то его автор, к сожалению, носит фамилию, одинаковую с фамилией одного покойного знаменитого критика. Если московский юродивый поэт еще ждет депутатов для отправления его в ту Испанию, которая помещается на девятой версте, то, по всей вероятности, петербургский уже давно помещен там и «выкликает» стихами и прозой именно оттуда. Судите сами по следующим образчикам.

Образчик № 1.

ЗАМИРАЮЩИЕ

I

Одиноко мне. Гой ты, заморянин! Слышишь? Стучат... Я стар... я изнемог.

Где ты, Кира? — Это ты?

Не грусти...

Ты ли это, Молодая?

Войди же, Ирочка!

* О самом себе (лат.).
 ** Размышления (франц.).

ПЕЧАЛЬ

Мы единственные,
Невоенные,
Все таинственные,
Как печаль;

Мы серебристые,
Золотистые,
Чуть росистые,
Как печаль;

За Тобою
Молодою
И святою,
Как печаль.

Образчик № 3.

Набегают сумраки.
Мои руки сплетаются,
Словно змеи, сплетаются,
И нависли ресницы,
И веют влагой
Мои ноги белые.

Затаилась горница,
Засветились светочи,
И уходят сумраки...
Я люблюсь в очи смуглые:
Затаились очи...

Не входите, присенники!
У меня ль не ноги белые?
У меня ль не руки сплетаются?
— Не входите, присенники! —

Обезумею, обессилею
За собольчатым пологом...
Заплету я руки змеистые,
Прикоснусь моих плеч обнаженных.
Зацелую очи смуглые...
Не входите!..

Образчик № 4.

Presto.

О чем молишь, Светлый? Не очей ли ты жаждешь неразгаданных, не сдержанного ли дыхания страсти? Не улыбки ли, одетой слезами, не росистой ли души молодости?

Я дам тебе тело девственное, бесстыдные, смелые ноги, уста опьяняющие... К моему утреннему ты приближаешься — Суровый.

Я ли не молода? Сплетутся руки змеистые. Бледная белая ночь побледнеет от Моих объятий и уйдет из покоя — за окна — на волю.

Светлый! Мне уютно... Мне больно. Светлый! Белая ночь глядит на тебя бездонными глазами. Она не уходит. Словно вдова, грустит ночь... Словно во пленница, плачет она. Плачет она о кладбищенском утре. Мне страшно... Светлый!

Каково все это, читатель! Жутко. «Светлый! Не входите, присельники! Гой ты, заморянин! Завещаю вечности и искусству!»

А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?

